

▶ **ПОЭЗИЯ ДУШИ** | Этюды к 200-летию М. Ю. Л.

По лермонтовскому следу



ВЛАДИСЛАВ АРИСТОВ

Продолжение. Начало в № 107

Мы (нас было трое) продвигались по Аргунскому ущелью сквозь всю Чечню в Хевсуретию, и на отрезке между Итумкале и Цой-педэ – старинный высокогорный аул и древний, угнездившийся на предельной для проживания человека высоте «город мёртвых», – так и переводится с вайнахского на русский – и позже я увижу и узнаю его в фильме Т. Абуладзе «Мольба» – внедрившись в самое узкое, труднопроходимое место.

Незванные гости

Солнце уже скрылось в горах Хевсуретии, тьма сгустилась, а мы ещё никак не определились с ночлегом. Дальнейшее продвижение в скальных теснинах становилось явно экстремальным – оставалось приткнуться к какой-нибудь скале и «прокемарить» под ней более чем прохладную ночь без огня. И тут мы увидели костёр.

Рискуя рухнуть в невидимые провалы, едва ли не наощупь мы пробрались все-таки к костру незванными гостями, которые, как известно, хуже... но мы рассчитывали на традиционное кавказское гостеприимство.

У костра сидели трое чеченцев, и встретили они нас со сдержанным удивлением, но к теплу огня, его свету допустили. И мы с ходу поспешили

нотой в голосе (допрашивал нас смахивающий на абрека рыжебородый джигит) запретили нам продвигаться дальше. Цой-педэ он объявил запретной зоной, а наше появление на этой тропе вторжением в самую почитаемую святыню Аргунского ущелья. И я снова заговорил о Лермонтове, достал из рюкзака «валерикские» и «шатайские» зарисовки, на всякий случай упомянул о вчерашней встрече и беседе с профессором Тимаевым, и запрет был снят. Выслушав инструктаж о нашем поведении в «городе мёртвых», мы отправились дальше и выше...

Впервые же слово «Лермонтов», как пароль, прозвучало в далёком 1969 году на подступах к леднику Кукуртли на западном склоне Эльбруса; из-под него сочились и собиралась в ручьи неуловимо для глаза прозрачная вода – исток Уллухурзука, бурным потоком впадающим в Кубань по выходу из ущелья. Защищенный на бредовом замысле – подняться на Эльбрус с запада, с утра до полудня лазал по ущелью Уллухурзук, выскивал подходы к леднику; а в полдень вылез к домику лесозаготовителей, был вполне поначалу любезно принят его хозяином – завхозом лесхоза, столь же вполне лояльно опрошен: кто? откуда? зачем? – приглашён отдохнуть в хижину за домиком и... заперт в ней снаружи на засов... Через оконце размером со школьный учебник завхоз повелел сидеть тихо и не рыпаться, пока он не сойдет за представителем власти для выяснения моей личности по всем правилам советско-союзного сыска.

Через час моего заключения – отдыха в прохладном сумраке хижины – я услышал голоса снаружи и принялся стучать; дверь открылась, и лесорубы (четыре горца с бензопилами), выслушав мой сбивчивый, полный искреннего возмущения монолог об этом курьёзе, грозящем развиться в акцию по задержанию агента недружественной державы, снова заперли меня. Затем лесорубы, что называется, накрыли поляну (я рассматривал их в оконце) – хлеб, сыр, помидоры, какая-то зелень, бутылки с вином – и приступили к трапезе.

В селении Валерик

Я был отчаянно голоден, но впервые почувствовал, что чувство голода может отдавать привкусом идиотизма, и я заорал... и, когда проорал слова «Лермонтов-Измаил-Бей-Росламбек-Селим», дверь открылась, и меня пригласили «на поляну»... Вино оказалось так себе, а вот хлеб, сыр и помидоры!.. И, провожая, меня вывели на тропу, на которой я не встречусь с завхозом и его спутниками.

Имя поэта, где бы оно ни произносилось, снимало завесу отчужденности между аборигенами гор и мною, пришлым. Его именем мы (всё та же «хевсурская» троица из Магнитки) оказались гостями милицейского блокпоста, когда спустились с ледников Казбека в Дарьяльское ущелье. Позже, через год, оказались опять же желанными гостями у школьного сторожа в селении Валерик.

Слово о Лермонтове, о моих странствиях по его «кавказскому следу» помогло мне провести «дикий» отпуск в древнем, оттого заброшенном осетинском селении Абайтикау, что под Рокским перевалом, – там я «квартировал» в родовой сакле с боевой башней у потомка старинного княжеского рода Баби Кесаева.

А в караево-черкесском селении Усть-Джегута я оказался кунаком жениха – друга моего друга, художника Пиляла Узденова, у которого я гостил летом того же 1969 года. Свадебному

кортежу он представил меня как художника с Урала, рисующего иллюстрации к поэме «Измаил-Бей», и это позитивно сказалось на отношении ко мне по ходу всей свадебной церемонии. И когда в один из усть-джегутинских вечеров во время прогулки по горному плато с захватывающим дух видом на царственно-величественный Эльбрус я каким-то доселе неведомым мне наитием почувствовал нечто, следующее параллельно мне и, более того, рассматривающее меня с ироническим любопытством... не посмел как-то обратиться к нему и ретировался вниз, к людям; и уже перед сном решил, что нечто – это он сам... душа ли его или дух... если ему будет угодно, узнаю... когда моя душа переберётся в мир, где сейчас он... и там мой пароль уже не будет, вероятно, иметь силы...

«Немирные» ущелья

Обширное кукурузное поле, простирающееся на юг до горизонта, волнисто очерченного скромной грядой предгорий, и ты всматриваешься в него: вдруг над ним призрачно просветятся снеговые великаны главного хребта, на север – до окраинных тополей селения, ныне вполне современного, но с огромной лужей на центральной площади, и в самый зной в неё, задрав морды, погружают свои тела три буйвола и буйволица.

Когда-то произраставшие в этих краях густые, «допотопные» леса вырублены и выкорчеваны напрочь, о чём двумя десятилетиями позже с репортёрской подлинностью поведаёт начинающий литератор Лев Толстой в своих кавказских повествованиях – российское воинство между редкими вылазками в «немирные» ущелья занималось тотальной вырубкой леса с единственной целью: демаскировать «немирные» аулы. Впрочем, нечто подобное мы наблюдаем и в наше время: военно-политические цели достигаются методом или захвата, или уничтожения природного ресурса.

Итак, кукурузное поле, которое вот уже более полутора столетий исторгает при вспашке раритеты кровопролитного сражения: неразорвавшиеся пушечные ядра, фрагменты холодного оружия, офицерские и солдатские знаки отличия, награды... Всё это подбирают ученики и учителя сельской школы и пополняют выставочный фонд в бывшем кабинете химии; и, оказавшись в этой маломерной комнатке, ловишь себя на ощущении, что ты не посетитель провинциально-периферийного – нигде и никем незатверждённого музея, а почти случайный свидетель реанимации исторического факта, события вот в такой спрессованной в останки сражения данности, и сельские дети и их наставники оберегают эту данность, воплощая в неё нашу память о поэте-воине.

Сражение между отрядом генерала Галафеева численностью две тысячи личного состава пехоты и пушкарей и «удальцами» Шамиля под командованием наиба Ахбердила Мухамеда численностью шесть тысяч конных горцев отличалось особой, предельной, беспощадной жестокостью, реликтовым истреблением себе подобных, разделённых не только национальным этноцентризмом.

Сражение длилось несколько часов, зачастую переходя в рукопашную схватку, в безжалостно-свирепую резню: только убитыми оказались у русских 30 офицеров и триста солдат, у горцев шестьсот душ, последние

пытались конной атакой захватить орудия, но русские пушкари били скорострельно, почти в упор, и горцы гибли от прямой картечи.

«Командир спецназа»

Лермонтов в этом сражении участвовал, пользуясь современной терминологией, как командир спецназа, то есть находился в самой гуще схватки, в самых горячих и острых столкновениях: то выручал пушкарей от захвата их горцами, то атаковал завалы, то бросался в погоню за отступающим противником; и, само собой разумеется, Лермонтов разил врага; разил, дабы самому не быть сражённым и победить – он убивал горцев.

Итак, поэт убивал человека и смерть была его самой близкой союзницей; но Лермонтов эту личную воинскую схватку не описывает так, как это выразил другой поэт в стихотворении «Перед атакой» (Семён Гузденко).

*Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.*

Разрыв –

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

Окопеченная вражда,

Штыком обрывающая шею.

Бой был короткий.

А потом

Глушили водку ледяную,

И выковыривал ножом

Из-под ногтей

я кровь чужую.

Вероятно, Лермонтов-воин тоже после боя считал с себя «кровь чужую», но Лермонтов-поэт отстраняется от Лермонтова-воина, и между поэтом и воином возникает наблюдатель, который видит и запоминает и жестокою резню, и ручей, запруженный телами, и смерть капитана, и оплакивающих его солдат, и генерала в тени на барабане, и лукавую улыбку кунака Галауба... Так образуется треугольник: воин-наблюдатель-поэт; остаётся определить – что или кто является центром этого треугольника. Обратимся к стихотворению.

То, что оно написано в формате письма-послания женщине, когда-то снискавшей любовные переживания поэта, должно наполнить его присутствием таким письмам внутренним светом в словесной ткани, и поэт тремя строками «Разуверьюсь я во всем./ Смешно же сердцем лицемерить./

Перед собою столько лет...» предвзвешивает последние строки, которые звучат поэтической реляцией о сомнительной победе в сомнительном «деле под Гихами», предвзвешивает своеобразной эпитафией над погребённой в глубинах памяти любви: «Забыл я шум младых проказ, / Любовь, поэзию. – но вас/Забить мне было невозможно». Рассказать же о мездре бойни подробно, тем паче натуралистически, изнутри, женщине, читателю, себе поэт не решает, а может быть, не может.

Но вот три строки, которыми поэт помечает видение и ведение своей схватки: «Все офицеры впереди.../Верхом помчался на завалы/ Кто не прыгнул с коня.../«Ура!» – и смолкло. «Вон кинжалы! В приклады!» – и пошла резня», помечает как наблюдатель, как художник, набрасывающий эскиз к будущей станковой картине.

Продолжение следует

Имя поэта, где бы оно ни произносилось, снимало завесу отчужденности между аборигенами гор и мною, пришлым